

## ТРЕУГОЛЬНОЕ ПИСЬМО

Роман в рассказах

### ТВЕРСКАЯ, ПЯТЬ

Там, где Тверская спускается к Ушайке, в прошлом был прорытый ручьем овраг. Как бы на дне бывшего оврага стоял наш дом. Дом был врыт одной стеной в косогор.

На первом этаже дома, в большей его части, жила семья Зиновьевых. А в маленькой однокомнатной квартире, примыкавшей к стене, врытой в землю, жили Стариковы. Сыровато было у них, но я часто играл там с дочкой Стариковых Галей. Она была на пять лет старше меня, черная, как галка, имя ей соответствовало. То она изображала из себя врача, сверлила мне лучиной молочные зубы и гудела при этом, подражая бормашине. То я ездил на ней верхом.

Галька учила меня пить чай с блюдечка и многому другому. Однажды она вылила за окно загустевшие красные чернила и велела присыпать песком:

— А то подумают, что кровь, и привяжутся.

— Так ведь можно сказать, что это чернила были.

— Ага! Придут крючки, сколько нервов вымотают!..

На втором этаже было две квартиры: наша и Есманских. Кухня была общая.

Жена Есманского, Ксения Никитична, шила в своей комнате на ручной машинке из сиротской материи юбки и платья, перелицовывала пиджаки и продавала на толкучке.

Я иногда подходил к ней, просил рассказать сказку. Никитична соглашалась не сразу:

— Расскажу, если покрутишь ручку швеймашинки.

Я добросовестно крутил ручку, а она говорила.

Но герои в ее сказках вели себя странно: коза съедала своих семерых козлят и самого серого волка, баба Яга влетала в ступе в окна квартир и побивала огромным пестом всех детишек, волшебник снабжал всех молодильными яблоками, которые были начинены порохом, взрывались у человека во рту так, что у того отваливалось полголовы.

— Нет! — кричал я, заливаясь слезами. — Не так надо!

— Я лучше знаю, — отвечала Никитична.

Иногда в разгар нашего спора являлась мать:

— Развесил уши! Она на зло. Наслушаешься, потом кричишь во сне...

Матери случалось ругаться с Никитичной и на кухне. Стол был общий, и, бывало, мать говорила соседке нарочито тихо:

— Мне надо раскатать тесто, а вы все заняли своими чугунками.

Та стояла, картинно расставив ноги, в уголке рта тлела вечная папироска-гвоздик, она встряхивала черными, коротко стриженными «под фокстрот» волосами. Отвечала матом.

Случалось хуже. Наш пес иногда проскальзывал на кухню, соседка даже подкармливала его. И вдруг однажды Никитична огрела нашего Маркиза поленом. Мать назвала ее садисткой, отвергла обвинение в том, что, якобы, пес гадит на кухне, полезла под стол:

— Это же кал кошачий!

Мать грозила соседке страшными карами, говорила, что отравит ее и кота Ваську.

Мне мерещилась Никитична, валяющаяся на полу рядом с мертвым же котом. Темные глазки соседки уже остекленели, а во рту еще дымится папироса-гвоздик.

Между тем, кот и пес доедали на полу рыбью требуху, и не было ни ворчания, ни шипения, животные как бы задались целью показать людям, как надо жить.

С плохими предчувствиями ушел я из дома, а когда нагулялся и вернулся, застал мать и Никитичну сидящими за столом в обнимку и поющими грустную песню «Среди долины ровныя». Они дали мне чаю и шанег, а сами налили себе из графинчика водки.

Если к нам кто-то приходил и стучал внизу в дверь, то мы в своих комнатах ничего не слышали, ближе к сенцам располагалась квартира Есманских. Спускаться вниз по лестнице приходилось дочери Есманских, Таисии. Она была темноволосой и близорукой, как и мать, училась где-то на чертежницу, пела под гитару. Легкой и тонконогой Таисии сбегать вниз-вверх ничего не стоило, но Никитична кричала, что мы бары-господа, а они нас обслуживают.

Отец разрешил этот конфликт, устроив звонок. Колокольчик в прихожке был привязан к проволоке, спускавшейся по катушкам вниз. Там сквозь дырку проволока была пропущена наружу. Дернет посетитель за проволоку, в прихожке звонок звенит. К Есманским звонить три раза, а к нам — шесть. Электрических звонков тогда не было, контролеры следили, чтоб в каждой комнате была лишь одна лампочка самой малой мощности.

Отец придумал еще один блок, чтобы можно было, не спускаясь вниз, отпирать дверь. Дернешь вверх за проволоку, и крюк выскочит из петли.

Есманский работал на конфетной фабрике пряничным мастером. Вечерами на кухне сапожным ножом он вырезал штампы для печений на торце полешка. Еще вечерами он плел корчаги и сети. Он ловил рыбу не только летом, но и зимой. Иногда с ним на рыбалку отправлялся и отец. Окунь и ельцы, которых приносили рыбаки зимой, казались белыми варениками. Их опускали в таз с водой, и происходило чудо. Елец начинал в воде шевелить жабрами, а потом плыл медленно, быстрее и вдруг пускался в бешеную гонку за самим собой по кругу.

Многие в нашем дворе работали на кондитерской фабрике, которую мы ласково называли «Конфеткой». За нашим окном был виден ее забор, криво взбиравшийся по косоугру, поросшему березами и шиповником. Мне была видна лишь труба фабрики, но ветер доносил ее дым, пахнущий медом.

Фабричный гудок гудел шесть раз в день и многим заменял часы. Но кочегар давал гудки, глядя на ходики в проходной. Ходики иногда отставали или спешили. Случалось, кочегар напивался и вообще не давал гудков, тогда округа жила как бы вне времени, соседи нередко приходили под наше окно и, сложив ладони рупором, кричали:

— Который час?

Отец был часовщиком, у нас на стенах всегда тикали самые разнообразные часы. Они принадлежали клиентам, отец проверял их ход после ремонта.

Поскольку дом был врыт в гору, то была в нашей квартире особенность. Выглянешь в окна, выходящие на улицу, видишь: да, живем на втором этаже. А в окна, обращенные к горе, можно выйти, как в дверь, прямо в сад к соседям Потапочкиным. Летом в открытые окна протягивали ветки сирень, ранет и черемуха.

Потапочкин был метранпажем. Это напоминало мне звучный титул из сказки. Но наш паж-метранпаж не носил за королевой шлейф платья, не было у него малинового берета, он был важен, молчалив и появлялся в своем саду то с лопатой, то с граблями.

В окна, выходявшие во двор, я видел сарай с навесом и флигель, где жили Усачовы и Дубинины. Усачов был на фабрике кладовщиком, а Дубинин Василий — шофером.

За флигелем был огород, где жильцы усадьбы выращивали разные овощи, а еще дальше — маленькие избушки, где жили престарелые Касьяновна и Северьянович и ютившиеся у них на правах квартирантов Ван Дзины, женщина и две девочки.

Слободка наша была школой городской жизни для вчерашних деревенских жителей. Они чаще становились грузчиками, возчиками. Ювелиры-то секреты на ушко передают, а на профессора полжизни учиться надо. То ли дело пойти в милицию. Гаркнешь: «Предъявите документики!» Профессор и то испугается.

Бывало, днем крутили хрюшкам хвосты, гребли навоз, а ночью сдрючивали с прохожего шубу.

Старожилом усадьбы был наш сосед Есманский, он и рассказывал, что раньше все здесь принадлежало купцу Морозову. Купец был голубятником. От тех времен остались на чердаке дома пласты голубиного помета.

— О, Марфа Баканас! — восклицал Есманский.

И меня поспешно выставляли с кухни. Но я ухитрялся подслушивать. Эта самая Марфа распоряжалась женщинами, втыкавшими в шляпки красные розы. Вечерами женщины стояли у наших ворот. Здесь загорался во тьме красный фонарь, чтобы мужчины не заблудились. И всю ночь в доме играл граммофон и звенели бокалы.

Знакомый Есманского, поляк, потом женился на Марфе Баканас, она стала важной дамой, а публичный дом закрылся. Но поляк не мог забыть прошлого жены. Да как забыть, если по вечерам в дом стучались бывшие посетители. Поляк переехал в Заисточье, но и там не успокоился, напившись пьяный, кричал:

— Я ж тебе, курва мама твоя, з бардаку взял!

Есманский мастерски произносил фразу, я как бы видел несчастного поляка. Несмотря на более чем юный возраст, я все же думал, что на месте этого бедолаги поискал бы иную жену.

Вольготно жилось в слободке зимой и летом. Коньки да лыжи, санки, снежные забавы. Каких снеговиков мы лепили! А летом купание одно чего стоило! А в начале лета гудели возле нашего дома на горке майские жуки. Наловишь, оторвешь им крылышки, посадишь в спичечный коробок. Они скребутся, а ты слушаешь «патефон». Однажды дал матери послушать, а она говорит:

— Тебе бы руки-ноги оторвать, тоже бы запел, как патефон!

Откуда к нам являлись такие забавы — мы не знали. Привяжем ниточку к рублю, он на дорожке, а ниточка протянута в ограду и зажата у меня в кулаке. Смотрим в щели на дорожку. Дородная тетка воровато оглянулась, наклонилась, хотела поднять рубль, я за ниточку дернул, фонтанчик пыли — и рубль исчез.

Не сразу поняла. На наш залихватый смех ответила матом, и вся покраснела, как рак.

Где мы этому научились? Видимо, по капле впитываешь все, что есть вокруг.

На Петровской глубокий овраг. Отец с матерью из гостей шли поздно ночью. У матери браслет-змейка из чистого золота, глаза у змейки — изумруды. У отца часы тоже золотые. С двух косогоров скатились темные фигуры, в руках ножи блестят. Нет пути ни вперед, ни назад. Мать браслет снимать стала, и вдруг голос:

— А! Это вы, Николай Николаевич? Извините, не узнали. Матрена Ивановна, не волнуйтесь. Хотите, до дома проводим, чтоб никто не обидел? Нет? Ну, приятного вам отдыха...

Выходцы из деревень нередко шли в банды. Сила есть, ума не надо. На нашей кухне звучало немало преданий о легендарных налетах.

В конторе ассенизационного обоза на Ярлыковской налетчики связали и положили под стол канцеляристок и заведующего. Очистили сейф и оставили записку: «Ваши деньги из говна!»

Был случай в доме на окраине Мухинской улицы. Ночью воры пробуравили дыры в наружной и внутренней дверях. Отодвинули засовы, сняли крючки. Хозяева мирно спали и проснулись в дочиستا обобранном доме. И опять была записка: «От вора нет запора!»

Многое к своим шести годам повидал я в слободке.

Цыган переводил через речку Ушайку медведя по отмели. Парни, мужики и детишки принялись швырять в зверя прибрежными голышами. Медведь дико ревел, и это подзадорило толпу. Тяжелые каменюги стали попадать и в цыгана. Он попытался напугать толпу, делая вид, что спускает с цепи медведя. Один мужик, обрадованный таким оборотом дела, заорал:

— Дарья, тащи двустволку! Хичника на людей пущать? Застрелю!

Цыган понял, что эту толпу ничем не проймешь, побежал, увлекая за собой медведя. Кричал под градом камней:

— Да люди вы или звери, в конце-то концов! Вы же артиста убиваете!..

Летним утром я был очень удивлен, увидев на нашей лавочке изысканное общество. Сидели там известные в околотке люди, с которыми каждый мальчишка мечтал подружиться. Карманник Сися играл на гармошке. Две блатные девицы пели частушки. Одну из них на нашей улице Тверской именовали Верой-дурой. Вера ходила, склонив голову набок, рот у нее всегда был полуоткрыт и слюняв. Но это происходило оттого, что в воровской драке ей перерезали сухожилие на шее. Вообще-то она была достаточно умна, чтобы успешно торговать краденым барахлом.

На лавочке я увидел не только ее, но и знаменитого Дюдю, двух казанских парней и Мишку Шмона, который всегда крутился возле взрослого ворья. Я тоже присел на лавочку. Она у нас толстая, из цельной лиственницы, вся изрезанная надписями. Приятно, что из других домов идут посидеть на нашей лавочке, значит, она лучшая.

Частушки мне надоели, и я пошел домой, пить хотелось. В сенях у нас кадка с холодной водой, в ней всегда ковш находился, хвостиком за край бочки прицепленный. Вдруг смотрю — на веранду из квартиры Есманских вылезает известный вор-потихушник Витька Урас, а в каждой руке у него по узлу.

Я тогда не знал, что настоящие воришки на «мокрые» дела не ходят, и перепугался: вдруг Урас меня тут прирежет, чтобы свидетелей не было? Вбежал на кухню белее мела, мать сразу это заметила:

— Ты что? Заболел?

Я ей на ухо сказал. А она крикнула Есманским:

— Вас обокрали! Держите воров!

Витька бежал по Петровской, в одной руке держал два узла, а в другой у него были каленые орехи, он их щелкал на бегу, это хорошо было видно.

Толпа приближалась к Витьке, он обернулся, сплюнул скорлупой, крикнул: «Наддай!» — и так замелькал ногами, что далеко оторвался от преследователей, запыхавшихся на крутом подъеме. Он помахал им и скрылся в проулке.

Никитична набросилась на певцов:

— Пособники!

— А мы — чо? Мы ничо, — сказала Вера-дура. — Мы частушки поем. Али лавочки жалко? Так мы на другую пойдем...

Отец про эти дела иногда с гостями говорил:

— Сибирь. Потомки ссыльных, беглых, каторжников. Да и переселенцем не каждый способен стать, а только самый отчаянный...

Однажды я спросил его:

— А ты чей потомок? Беглых или ссыльных?

— Мы саратовские. Отец мой в Саратов с Украины приехал. Знаешь, настоящая наша фамилия, может, украинская, может, кавказская. Как? Жила на Украине семья Порохненко, где-то возле моря. Может, порох в фамилии не зря звучит. Может, это казаки были... Была у них дочь Оксана. Говорят, однажды у этих Порохненко остановились горцы, продававшие лошадей, один решил на Оксане жениться. Вскоре явился гонец: война на Кавказе! Горец уехал, а потом Оксане привели белого коня, накрытого черной буркой, передали ей, как невесте этого горца, шашку, острый кинжал и папаху. Погиб горец-то... Вскоре родители отдали Оксану за батрака, за Климычева. Родилось у него много детей, а старшего он не любил, так как тот обличьем чисто в горца вышел.

— Чего ребенку голову морочишь? Что он еще понимает?

А я любил слушать рассказы отца о дедушке, Николае Федоровиче, которого никогда в жизни не видел.